



## А. БЕЛЫЙ

### Владимир Соловьев

Из воспоминаний

Есть спутники вашего детства: имена и представления, поразившие ребенка чем-то необычайным. Фантазия начинает усиленно работать, и слова, подчас совершенно просто сказанные, покрываются золотой фатой сказки. И имена, подчас незнакомые, как-то ярко сияют.

Я познакомился с Вл. С. Соловьевым сравнительно поздно; гораздо раньше я о нем слышал.

Не знаю, кто, где и когда впервые заговорил о нем при мне. Но еще в раннем детстве редко, но ярко проходил он в моем воображении. Станным и страшным казался он мне. Может быть, это было оттого, что, будучи с детства один среди взрослых, я прислушивался внимательно к полупонятым словам, к отвлеченным спорам. И незнакомые имена западали в память. Почему-то ярко запали имена Вейерштрассе и Соловьева. Вероятно, при мне кто-нибудь из «университетских» выразился в таком тоне: «Станный человек Владимир Соловьев». Или дама сказала: «Загадочный». А детское воображение заработало. Мне стало казаться, что Владимир Соловьев — странник, шествующий с посохом по городам, селам, лесам. Он — нечто вроде вагнеровского Wanderer'a<sup>1</sup>: появляется то в Москве, то в Аравийской пустыне. Мой мир сказочных представлений пересекал он редко, но пересекал. Куда? В Аравию, на север? Для меня был он одним из музыкантов, что проходят на север в «Драме жизни»<sup>2</sup>, возвещая приближение горячки. Это было провиденциально: Владимир Сергеевич был для меня впоследствии предтечей горячки религиозных исканий.

Помню, однажды раздался звонок. Отца не было дома. К нам вошел, как мне казалось, кто-то сухой, длинный, черный, согбенный, с волосами, падающими на плечи, с длинной черно-се-

рой бородой, с изможденным лицом и серыми глубокими глазами. Сел — и показался добрым и маленьким, потому что длинные были его ноги; сидел с высоко поднятыми коленками и смеялся большим-большим ртом, протягивая мне свою костлявую, но какую-то бессильную, длинную руку. Посидел и исчез. Из разговора матери с отцом я понял, что это был Владимир Соловьев. Приходил по какому-то делу, но мне он явился, как являются сказочные незнакомцы из Гофмана. Взрослые говорили, что в пустыне его приняли за черта. Мне казалось, что он вышел из смерчей, самума, пришел к нам; а когда вышел за дверь, то смерчем расклубился, метелью пронесся. Греза стала реальнее.

Вскоре опять я его видел у профессора Стороженко<sup>3</sup>. Опять поразило его в жестокой думе сожженное лицо среди благообразных, довольных лиц окружающих. Казалось, что голову вот-вот положит он на колени, потому что колени его длинных ног высоко поднимались, а туловище казалось коротеньким. Мы, дети, бегали среди гостей, стараясь приколоть к сюртукам бумажные хвостики. Мы, дети, с шутливым страхом косились на Соловьева. А *бука* Соловьев добродушно посматривал на нас.

Так сказочно промелькнула фигура Владимира Сергеевича в далеком детстве моем. И позднее я встретился с ним. Но только последняя встреча, незадолго до его смерти, имела для меня роковой и глубокий смысл.

Громадные очарованные глаза, серые, сутулая его спина, бессильные руки, длинные, со взбитыми серыми космами прекрасная его голова, большой, словно разорванный рот с выпяченной губой, морщины — сколько было в облике Соловьева неверного и двойственного! У французов есть одно слово, не переводимое на русский язык. Оно характеризовало бы впечатление, которое оставлял на окружающих Владимир Сергеевич. Француз сказал бы про него: «Il était bizarre»<sup>4</sup>. Гигант — и бессильные руки, длинные ноги — и маленькое туловище, одухотворенные глаза — и чувственный рот, глаголы пророка, и — посмотрите: вот мимо проносят поднос с печеньем: длинная рука Соловьева протягивается к печенью, с виновато-беспомощной улыбкой он щурится, наклоняясь над сладостями, осматривает каждую конфету, каждое печенье; цепкие пальцы возьмут то и это, благодарно закачается перед прислугой, растеряется. Потом обернется к собеседнику, забудет старательно выбранную кучку сладостей, скажет одну только фразу (говорит он мало), но слово его брызнет зарей. Бессильный ребенок, обросший львиными космами, лукавый черт, смущающий беседу своим убийственным смешком: «Хе-хе», и — заря, заря!

Соловьев всегда был под знаком ему светивших зорь. Из зари вышла таинственная муза его мистической философии (*она*, как он называл ее). Она явилась ему, ребенку. Она явилась ему в Британском музее, шепнула: «Будь в Египте»\*. И молодой доцент бросился в Египет и чуть не погиб в пустыне: там посетил его видение, пронизанное «лазурью золотистой». И из египетских пустынь родилась его гностическая теософия — учение о вечно женственном начале божества. Муза его стала нормой его теории, но и нормой его жизни. Можно сказать, что стремление к заре превратил Соловьев в долг, и раскрытию этого долга посвящены восемь томов его сочинений, где тонкий критический анализ чередуется с расплывчатой недоказательной метафизикой и с глубиной мистических переживаний необычайной. Дешифруя его учение, мы встречаемся с громадной эрудицией и с дьявольским умением полемизировать, которым Соловьев так часто злоупотреблял: как из пушки, стрелял Соловьев своей критикой и по врагам, и по друзьям, и — увы! — по воробьям. Но если вы пожелаете узнать, для чего нужно было Соловьеву всю жизнь громить, бичевать и взывать, то под его критикой и полемикой вас встретят бледные, безжизненные схемы метафизики. Но самая эта метафизика для Соловьева — только скромная вуаль над ему одному ведомой тайной: эта тайна — голос заревой его музыки. Этот голос ему шептал: «Будь в Египте». Но этот же голос шептал ему: «Полемизируй со Страховым, ибо Страхов — эмблема смерти»<sup>5</sup>. Такова жизнь Соловьева — всегда и везде быть озаренным. Заря принимала образ прекрасной музыки и манила его. И Соловьев из Hôtel d'Angléterre в Петербурге бросался на Сайму, потом в Москву к Н. Я. Гроту, после чего Грот начинал заниматься чуть ли не спиритизмом. А Соловьев отправлялся в Египет.

Помню большие коричневые свечи, которые привез он своему брату, М. С. Соловьеву, из Египта. Соловьев всюду как бы ходил с большой коричневой египетской свечой, невидимой для его маститых и уравновешенных друзей, но, быть может, видимой некоторыми из его друзей, относительно которых ходили слухи, что друзья эти — «темные личности». Вот эти-то темные личности впервые и возвестили о том, что Соловьев — вовсе не философ, а странник, ходящий перед Богом.

Стасюлевич, конечно, не видел свечи в руках Соловьева, друга-идеалисты, которые все были, по меньшей мере, профессора и все говорили Владимиру Сергеевичу «ты», свечи не видели

---

\* Этот факт, совершенно реальный, описал он в поэме «Три свидания».

тоже. Они превратили учение Соловьева просто-напросто в философский идеализм, и даже не в неокантианском смысле этого слова, а просто для них философия Соловьева была удобным средством для борьбы с позитивизмом, с которым Вл. Соловьев если и боролся, то разве в ранней молодости; потом он признал и по-своему осветил контовский позитивизм.

Вот почему чувствовал себя Соловьев одиноким, хотя из одних друзей его и состояло Психологическое общество. И из-за зеленого стола, где раздавались такие важные, такие любезные, казалось бы, для него речи, убегал Соловьев к холодным струям многошумной Иматры или к белым колокольчикам Пустыньки\*, а то и прямо к «подозрительным личностям»: пьянствующим пророкам, юродивым неудачникам, к знакомым нищим или, пожалуй, ко всем без разбора извозчикам, раздавая свои деньги. После кончины философа странные обнаружились его связи со многими «отверженными». Но страннее, что именно к ним-то, пожалуй, и повертывался Соловьев своим настоящим ликом.

Многие увидят в моих словах фантазию, скажут, что про покойного можно писать теперь все что заблагорассудится. Но пусть это же скажут и близкие к Соловьеву лица, знавшие традиции его интимной жизни. Мне приходилось встречаться с Соловьевым и в профессорском кругу. Мне приходилось слышать о нем от его «почтенных» друзей. Но я видел его черновые бумаги, при мне читались его интимные письма. Но я знал о нем из наиболее верного источника: от брата покойного мыслителя, М. С. Соловьева, с которым он был особенно дружен и в семье которого я был принят как родной. В уютной гостиной у Соловьевых проводил я все свободное время, будучи гимназистом, а потом и студентом. Здесь вели мы нескончаемые беседы, и многое в этих беседах касалось прямо или косвенно покойного философа. М. С. Соловьев был замечательным человеком; он умел соединять спокойную уравновешенность, эрудицию с той безграничной свободой, которая не заслоняла от него ничего искреннего, какие бы формы эта искренность ни носила. Он был авторитетом и для своего брата, и для «маститых» друзей Владимира Сергеевича, и для молодой кучки искателей, которых в то время обливали презрением «маститости от схоластики». Вокруг Соловьевых группировались все смелые и искренние, идущие своим путем.

---

\* Имение, принадлежащее прежде гр. Толстым, где гостил Соловьев.

М. С. Соловьев любил в брате своем вовсе не автора восьми томов, а нового человека, услышавшего призыв и в бархатной ласке зари, и в тихом плеске белых колокольчиков: «Сколько их расцвело недавно!» (Вл. Соловьев). Вот почему я не мог не научиться любить в Соловьеве не мыслителя только, но и дерзновенного новатора жизни, укрывшего свой новый лик под забралом ничего не говорящей метафизики. И не мог я не смотреть на Вл. Соловьева с глубокой любовью, когда встречал его в обществе брата за небольшим уютным столом, под мягким абажуром. И что-то неуловимо мягкое, грустное и близкое зацветало в сердце — цветок за цветком. «Сколько их расцвело недавно» — так еще недавно, всего семь-восемь лет тому назад! А вот прошло семь лет, и лампы тихо мигают над тремя незабвенными могилами, и личность Вл. Соловьева уже отходит куда-то вдаль, становясь легендарной. И только грустные березы вздохнут, вздохнут плеском весенних листьев, облетят осенью, а потом метель взвоет над тихим кладбищем дикие вихри свои.

Больной, худой приходил Соловьев к брату точно из неведомых стран. Худой, маленький, с высоко поднятыми космами, сидел он с братом за шашками, врываясь в наш разговор то гремющей своей шуткой, то вырывающим из-под ног почву замечанием. Но больше всего хохотал он шуткам маленького своего племянника (теперь талантливого поэта), дико ржал и стучал по полу ногами. Бывало, придешь к Соловьевым: в передней большая меховая, как у священника, шуба. Подумаешь: «Ах, значит, приехал Владимир Сергеевич». Войдешь — протянет длинную слабую свою руку, не смотря в глаза, скажет: «А ваш тезка Б. Н. Чичерин?»\*.

Скажет и быстро передвинет шашку. Слушает, ржет. Читаются стихи. Если что-нибудь в стихах неудачно, смешно, Владимир Сергеевич своим громовым иступленным «ха-ха-ха» так и подмывает сказать нарочно что-нибудь парадоксальное, дикое. Ничему в разговоре не удивлялся Владимир Сергеевич; добродушно гремел свое: «Ха-ха-ха! Что за вздор!» И разговор при нем всегда искрился, как шипучее вино. Не тяжестью доказательств измерял Соловьев разговор, а ценой остроумия. Чем более старался он в статьях казаться верблюдом, навьюченным грузом отживающей схоластики, тем свободнее, капризнее, слепительнее были его редкие афоризмы из-за шахмат. Он говорил, опуская промежуточные звенья мысли, короткими афоризмами; любил скачки мысли с вершины на вершину и не чуждался сме-

---

\* Я привык, что с детства все напоминали мне об этом.

лости; и там, где маститые его друзья влекли мысль с вершины умозаключения к другой вершине как бы на скрипучей арбе, там Вл. Соловьев прыгал. И мы, молодые представители так называемого декадентства, чувствовали Вл. Соловьева своим, родным, близким, именно близким по жаргону речи, по психическому темпу переживаний. Всегда любовался я фигурой Вл. Соловьева.

Любовался им и за столом. Любовался им и на улице. Он проезжал в своей большой, как у священника, шапке, кутаясь в меха, среди снежных вихрей. Встречал его и в глухих черных подъездах, когда поднимался он, стуча калошами, точно батюшка, поспешающий на молебен. Потом он исчезал. И опять я заставал его за уютным чайным столом.

Помню, наступила весна 1900 года. Соловьев как-то особенно был измучен несоответствием между всей своей литературно-философской деятельностью и своим сокровенным желанием ходить перед людьми с большой египетской свечой. Он говорил брату, что миссия его заключается не в том, чтобы писать философские книги; что все им написанное — только пролог к его дальнейшей деятельности. Незадолго перед тем он прочел свою лекцию о конце всемирной истории. Тут мы встретились как-то по-новому: мы встретились в первый раз, но это была и последняя встреча. Соловьев скончался.

Помню, я получил записку от покойной О. М. Соловьевой. Она извещала, что Владимир Сергеевич читает им свой «Третий разговор», и просила меня прийти. Прихожу. Соловьев сидит грустный, усталый, с той печатью мертвенности и жуткого величия, которая почил на нем в последние месяцы: точно он увидел то, чего никто не видел, и не может найти слов, чтобы передать свое знание. В те дни у меня в душе накопилось много тревоги. При виде Соловьева мне хотелось ему сказать что-то такое, что говорить не полагается за чайным столом. Но желание осталось желанием, и я заговорил с ним о Ницше, об отношении сверхчеловека к идее богочеловечества. Он сказал немного о Ницше, но была в его словах глубокая серьезность. Он говорил, что идеи Ницше — это единственное, с чем надо теперь считаться как с глубокой опасностью, грозящей религиозной культуре. Как я ни расходился с ним во взглядах на Ницше, меня глубоко примирило серьезное отношение его к Ницше в тот момент. Я понял, что, называя Ницше «сверхфилологом», Владимир Сергеевич был только тактиком, игнорирующим опасность, грозящую его чаяниям. Но пора было приступать к чтению. Вдруг раздался звонок. Соловьев обеспокоился: «Нельзя ли сказать...» Тут он начал тереть себе лоб и отыскивать неправдоподобные предло-

ги, чтобы избавиться от нечаянной слушательницы. Чтение должно было носить совершенно интимный характер. Потом он читал свою «Повесть об антихристе». При слове «Иоанн поднялся, как белая свеча», — он тоже приподнялся, как бы вытянулся в кресле. Кажется, в окнах мерцали зарницы. Лицо Соловьева трепетало в зарницах вдохновения. Тут я не мог не сказать чего-то такого, что было мне близко и что я усмотрел в диалоге действующих лиц «разговора». Соловьев посмотрел на меня удивленно. И на «робкие», дикие для всех замечания сказал мне: «Да, да, это так». Я почувствовал, что между нами возникает что-то особенное. Соловьев посылал меня домой принести одну мою рукопись, в которой я касался того, в чем мы неожиданно сошлись. Но О. М. Соловьева сказала: «Уже поздно». Мы условились, что встретимся после лета. Я уже знал, что мы встретимся прочно. Но Соловьев скончался. И не сказанное между нами слово стало для меня лозунгом, как стала для меня впоследствии лозунгом его могила, озаренная красной лампадкой.

Часто потом мне приходилось бывать в местах, где гостил Соловьев. Еще недавно смотрел я на белые колокольчики, пересаженные из Пустыньки, о которых сказал он: «Сколько их расцветало недавно». Еще недавно надевал я в дождливые дни его необъятную непромокаемую крылатку. И дорогой образ в крылатке, на заре, склоненный над белыми колокольчиками, так отчетливо возник — образ вечного странника, уходящего прочь от ветхой земли в град новый. А за ним воскресли дорогие, отошедшие в вечность образы.

